

Рассказы Ивана Сударева

Русский человек любит высказаться, причину этого объяснить не берусь. Иной шуршит, шуршит сеном у тебя под боком, вздыхает, как по маме родной, не дает тебе завести глаз, да и пошел мягким голосом колобродить про свое отношение к жизни и смерти, покуда ты окончательно не заснешь. А бывают и такие, за веселым разговором вдруг уставится на рюмку да еще кашляет, будто у него душа к горлу подступила, и ни к селу ни к городу начинает освобождать себя от мыслей...

А мыслей за эту войну накопилось больше, чем полагается человеку для естественного существования. То, что наши деды и отцы не додумали, приходится додумывать нам в самый короткий срок, иной раз между двумя фугасками... И делать немедленный вывод при помощи оружия... Непонятно говорю?

Дед мой был крепостным у графа Воронцова. Отец крестьянствовал ни шатко ни валко, жил беспечно, как трава растет, что добудет прогуляет, зазовет гостей и ему ничего не жалко, к рождеству все подчистит: ни солонинки на погребнице, ни курей, ни уток. А он, знай, смеется: Веселому и могила пухом, чай, живем один раз... Ох, любил я папашку!.. Советская власть потребовала от него серьезного отношения к жизни, папашка мой обиделся, не захотел идти в колхоз, продал он корову, заколотил избу и вместе с мачехой моей уехал на Дальний Восток... А мне, его сыну, уже пришлось решать государственную задачу, и решать не кое-как, а так, чтобы немец меня испугался, чтобы немцу скучно стало на нашей русской земле... Он стоек в бою, я стойче его, его сломаю, а не он меня... Он, как бык, прет за пищей. Ему разрешено детей убивать... Он похабник. Я же руку намну, погуляв клинком по немецким шеям, как было в феврале, и этой же рукой пишу стихи...

Давеча вы правильно заметили, что я пишу стихи. Печатался во фронтовой газете... У тебя, Сударев, это личные слова редактора, тематическое и боевое крепко выходит, а лирику надо бросить... А и верно ну ее в болото. Завел я тетрадь для таких стихов, но в походе пропала вместе с конем Беллерофонтом, такой у меня был конь... До сих пор жалко этого коня... В марте ранило меня в обе ноги без повреждения кости, думаю лягу в госпиталь, кто напоит, накормит коня? Доказал врачу, что могу остаться при эскадроне, и в самом деле легко поправился... А он, Беллерофонт, понимает животное чего мне стоит в лютый мороз в одних подштанниках проковылять с ведерком от колодца к конюшне, в лицо мне дышал и губой трогал... Стихов не записываю, лирику ношу в груди.

Не так давно видел в одном частном доме картину, средней величины, да и ничего в ней не было особенного, кроме одного: представляете лесок, речонка, самая что ни на есть тихая, русская, и по берегу бежит тропинка в березовую рощу. Взглянул я и все понял, ах, сколько жил, и не мог словами выразить этого!.. А художник написал тропинку, и я чувствую на ней следочки, тянет она меня, умру я за нее, это моя родина... Опять непонятно говорю?

Представляете: в деревне, на завалинке, сидит старушка, худая, древняя, лицо подернуто могильной землей, одни глаза живые. Я сел рядом. День апрельский, солнышко, а еще снег кое-где и ручьи...

Ну, бабушка, спрашиваю, кто же победит?

Наши, красные победят, русские.

Ай да патриотка, говорю. Почему же ты все-таки так уверенно думаешь?

Долго бабушка не отвечала, руки положила на клюшку, глаза, как черная ночь, уставила перед собой. Я уже уходить собрался.

Давеча петухи шибко дрались, ответила, чужой-то нашего оседлал и долбит и долбит, крыльями бьет, да слез с него, да закукуречит... А наш-то вскочил и давай опять биться, давай того трепать и загнал его куда, и хозяйка не найдет. Эта бабушка была молодой бегала по тропинке над речкой, березу заламывала, шум лесной слушала... Теперь сидит на завалинке, путь ее кончен, впереди земля разрытая, но хочет она, чтобы ее вечный покой был в родной земле.

Вам, вижу, спать тоже не хочется. Как только зенитки кончат стрелять, мы заснем. А пока расскажу несколько правдивых историй. Пришлось видеть немало, из каких только речек мой конь воду не пил и по эту и по ту сторону фронта... Подойдут рассказы печатайте, сам-то я за славой не гонюсь...

Березовое полено кололось, как стеклянное, под ударом топора. Хорош был январский денек, спокойный дым над занесенной снегом крышей подымался и таял в небе, таком бирюзовом, с нежным отливом по краю, что казалось, невозможно, будто в небе такой холод; невысокое солнце глядело во все око на разукрашенную в иней плакучую березу.

Только вот человек здесь мучил человека. А хорошо бы вот так тюкать и тюкать колуном по немецким головам, чтобы кололись они, как стеклянные... Василий Васильевич заиндевелой варежкой вытер нос, опустил топор и оглянулся. Со стороны села по дороге, бледно синевшей санным следом, шел в ушастой шапке низенький паренек, вернее катился, расстегнув полушубок, размахивая в помощь себе руками.

Увязнув в снегу по пояс, он перевалился через плетень во двор, не здороваясь,

сдернул шапку, от стриженной головы его поднялся пар, достал из шапки синеватый листочек.

С самолета сбросили! сказал, схватил топор и с выдохом начал тюкать по сучковатому полену, чтобы избавить себя от переизбытка возбуждения. Этого паренька звали Андрей Юденков. Весной он окончил в Ельне среднюю школу, где директорствовал Василий Васильевич, и начал готовиться к университетским экзаменам, но был призван в армию и в злосчастных боях под Вязьмой попал в плен. В то время еще живы были устаревшие понятия о том, как надо воевать: если окружен значит, проиграл, клади оружие. Тогда еще не был доподлинно известен немецкий характер: с виду каменный, но истерический и хрупкий, если ударить по немцу с достаточной решимостью. Но за науку платят. Поплатился и Андрей Юденков. Вместе с другими военнопленными его загнали на болото, обнесенное проволокой, где все они простояли по колено в жидкой грязи четверо суток под дождем, без еды. Некоторые не выстояли, повалились, утонули. На пятый день обессиленных людей погнали на запад. В пути тоже многие ложились, и тогда слышались выстрелы, на которые никто не оборачивался.

Когда проходили деревней, отовсюду из-за плетня, или в приоткрытую калитку, или в пузырьчатое окошечко глядели на унылую толпу военнопленных милосердные глаза русских женщин и протягивалась рука с хлебом, с куском пирога, а иная женщина, пропустив угрюмого конвоира с автоматом на шее, из-под платка доставала глиняный горшок: Родные мои, молочка съешьте...

Тут эти люди, кто по неразумию своему малодушно положил оружие, узнали стыд, и кусок им мешала проглотить злорадия. Тут многие, кто покрепче, начали бежать, выбирая время в сумерках, покуда конвоиры не загнали людей в сарай. Так и Андрей Юденков, отстав, будто по нужде, кинулся за спиной конвоира в мелкий ельник и долго полз под выстрелами. Стороною от большака он добрался до села Старая Буда. Так же, как и другие бежавшие, он постучался в незнакомую избу и сказал: Возьмите в зятя... По немецкому закону за укрывательство военнопленного полагается повешение. Из избы вышел хромым человек с седой щетиной на заячьей губе: Нет, боимся, ответил тихо, проходи, милый. В другую избу его впустили. Пожилая женщина, мывшая в корыте лысого ребенка, подумав, ответила: Ну что ж, девка у нас есть, ребенок есть старшей дочери... Пропала у меня доченька-то, немцы угнали в публичный дом... Оставайся, работай в семье.

Таких, как Андрей, зятюков на селе было несколько человек. Они жили в семьях, и с ними делили скудный кусок хлеба из-за одного лишь великого русского милосердия. Присланный немцами нездешний староста Носков, жестокий, но трусливый, не особенно допытывался подлинные ли это зятя;

он глядел лишь за тем, чтобы сдано было оружие, да отбирал именем германского командования теплые вещи, поросят и птицу, что еще не успели взять немецкие солдаты.

Андрей, осмотревшись, начал с этими людьми заговаривать. Все они люто были злы на немцев, но все считали, что наше дело безнадежно проиграно: Москва давно отдана, об этом сообщили населению бургомистры и старосты, остатки Красной Армии погибают где-то на Урале...

Андрей с досадой поднял вместе с завязшим топором сучковатое полено, грохнул его, расколол.

Разгоревшимися глазами Василий Васильевич читал строки синенького листка, в нем сообщалось, что миллионная фашистская армия разгромлена по всему московскому фронту, отступает, бросая танки, артиллерийские парки, машины и бесчисленными трупами своими устилает дороги и лесные дебри... Это было как неожиданное помилование после смертного приговора... Он пошел с Андреем в избу, мимоходом, около печки, взял за плечи, повернул к себе низенькую, полную седую стриженую женщину свою кормилицу, у которой жил на хуторе под видом племянника, крикнул ей в задрожавшее лицо: Капитолина Ивановна, оставьте уныние, заводите блины... Есть колоссальные новости. Жив русский бог! Прошел за перегородку и у стола вслух прочел еще раз синенький листок... Хлопнул по нему ладонью, захохотал: А кто в Россию не верил? А! Кто Россию хоронить собрался? Поднялась матушка!..

Андрей тут же рассказал, как давеча услышал гул самолета, выскочил на двор: батюшки наш! А он уже пролетел, и за ним, как голуби, листочки падают...

Я за ними бежать, по пузо в снегу, аж пар от меня... Василий Васильевич, это все в корне меняет сущность дела...

Разумеется, меняет все в корне! закричал директор школы, сбегал куда-то и положил на стол парабеллум, жирный от масла, и мешочек с патронами. Сколько я ночей не спал, ждал этого листочка... Все обдумано! Начнем мстить, Андрей...

Вдвоем-то, с одним пистолетом, а их две роты, Василий Васильевич...

С чего-нибудь начинать надо. Первый человек тоже догадался взять острый камень в руку, а во что развернулось!

Тогда автоматов не было, Василий Васильевич, каменные топоры да личная храбрость...

Ага! Личная храбрость! Он поставил тощий палец перед носом Андрея...

Никто никогда таким еще не видел директора школы, небольшие глаза его сверлили, как буравы, худощавое книжное лицо, с козлиной бородкой, разгорелось, оскалилось не то от дикого смеха, не то готовясь укусить. Мы держим экзамен, великое историческое испытание, говорил он так, будто

перед его пальцем сидела тысяча Андреев. Пропадет ли Россия под немцем, или пропасть немцу?.. На древних погостах деды наши поднялись из гробов слушать, что мы ответим. Нам решать!.. Святыни русские, взорванные немцами, размахивают колокольными языками... Набат? Пушкина любишь? Звезда эта горит в твоём сердце? Культуру нашу, честную, мужицкую, мудрую несешь в себе? Все мы виноваты, что мало ее холили, мало ее берегли... Русский человек расточителен... Ничего... Россия велика, тяжела, вынослива... А знаешь ли ты, какая в русской тишине таится добродетель? Какое милосердие под ситцевым платочком! Какое самоотвержение! Василий Васильевич выговорил все это, и глаза его помягчали. Зато у Андрея серые, широко расставленные глаза стали холодными и злыми и осунулось моложавое лицо с задорным носом. Василий Васильевич сказал: Теперь конкретно начинать надо вот с чего: сегодня ночью идем в Старую Буду.

Луна в бледном радужном круге высоко стояла над белыми снегами с густыми кое-где тенями от корявой сосны, от печной трубы, одиноко торчавшей из занесенного пожарища. Василий Васильевич едва поспевал за Андреем, бойко скрипевшим валенками по стеклянной колее. Андрей поднял руку и остановился, впереди тихо, скучно выла собака. Тогда они свернули по цельному снегу и, тяжело дыша, вышли в село со стороны гумна и стали в тени сарая. Черные окошечки в избах корявились от лунного света. Вдалеке чихал и выстреливал грузовик, доносились отрывистые, не наши голоса. Фрицы консервы и водку привезли, подождем, сказал Андрей. Когда на улице успокоилось, Андрей перемахнул через забор. Давайте за мной смелее, и за руку перетащил во двор Василия Васильевича, путавшегося в шубе.

Они постучались на крылечке. Андрей крикнул: Староста, к тебе господа офицеры.

И когда в сенях заскрипели морозными досками, Василий Васильевич сказал по-немецки:

Выходите, вы мне нужны.

Сейчас, сейчас, господа, минуточку, торопливо зашептали из сеней, отодвигая задвижку. Дверь приоткрылась, и в лунный свет из черной щели потянулось умильное, с острым носом, рябоватое лицо.

Андрей кинулся на дверь, ввалился в сени, и там началась возня. Василий Васильевич не сразу мог разобраться в обстановке, у его ног сопели, хрипели, катались... Все же различил, что наверху сидит староста, двигая лопатками, и он револьвером ударил по затылку этого умильного человека...

О-о-о-о-х, протянул староста, о-о-о-о-х, сволочи...

В жарко натопленной комнате, едва освещенной привернутой лампой, окошки

были закрыты ставнями, над клеенчатым диваном, с которого несколько минут тому назад соскочил староста, откинув бараний тулуп и уронив на пол грязную ситцевую подушку, была приколотая открытка Гитлер в морской форме. На голом столе рядом с пузырьком чернил и раскрытой конторской книгой лежал новенький автомат, то, за чем они сюда пришли.

Теперь ты согласен, что мы уже не плохо вооружены? спросил Василий Васильевич с усмешкой, сдвинувшей набок его бородку. Бери автомат, я возьму книгу, идем к Леньке Власову.

Старосту из предосторожности они отнесли из сеней в сарай и бросили за дрова. Над тихим селом стоял месяц в морозных радугах, но не волшебные сказки рассказывал он спящим людям, лучше бы ему взойти красным, как кровь из замученного сердца, раскаленным, как ненависть...

Чего вы все голову задираете, воздух спокойный, сказал Андрей. Лезьте за мной, собак на дворе нет...

Ленька Власов, с хмурым лицом, с сильной шеей, вышел к ним на мороз босиком, в одной неподпоясанной рубашке. Разглядывая трофейный автомат, поджимая ноги, выслушал краткое сообщение о сброшенной листовке, о необходимости немедленных партизанских действий. Когда у него застучали зубы, сказал:

Идемте в избу. Это дела серьезные. Надо за ребятами послать...

В темной избе, где пахло бедностью, говорили шепотом, замолкая, когда за перегородкой ворочались женщины. В неясном свете, пробивавшемся сквозь морозное окошечко, видно было, как одна из них вышла, надевая в рукава полушубок; Ленька шепнул ей что-то, она, подойдя к печке, позвала юным голосом: Ваня, подай мне валенки мои, стоя, всунула в них ноги и торопливо ушла со двора. Василий Васильевич принялся было развивать те же идеи, что давеча перед Андреем, но Ленька перебил сурово:

Сейчас агитация возможна только боем. Удастся нам хоть один гарнизон уничтожить поднимется десять сел. Оружие нужно. И он позвал: Ваня, оденься, слезь к нам.

С печки соскользнул мальчик и стал близко к взрослому, подняв к ним большие глаза. Когда Василий Васильевич положил руку на его теплую мягковолосую голову, он отстранился, дескать, не время ласкам.

Нам нужно оружие, сказал ему Ленька...

Понятно.

Имеется поблизости брошенное оружие? Вы, мальчишки, должны все знать. Имеется. Есть один мальчишка, Аркадий, тот больше моего знает, вам он скажет. Противотанковая пушка вам нужна? Есть две пушки утоплены в речке. Снаряды знаем где. В лесу, в яме, одиннадцать пулеметов закопано. А еще в одном месте ручные гранаты и мины. Все покажем. Чего, вы собрались

немцев бить?

Ну, это не твое дело.

Как это не мое дело? мужским голосом сказал мальчик и подтянул штаны.

Меня можно пытаться, от меня ничего не добьешься.

Василий Васильевич присел, чтобы лучше рассмотреть его лицо, оно было и детское, круглое, с пухлыми губами, и не по-детски серьезное. В избу один за другим явились пять человек фронтовиков и последняя девушка, которая за ними бегала. Разматывая платок, она ушла за перегородку. Василий Васильевич у самого окошечка опять прочел листовку. Андрей, подняв ребром ладонь, сказал, что это призыв к борьбе. Один из фронтовиков ответил: Вот, значит, как дела оборачиваются. Ну что ж, отольем немцу наши слезки... Пойдемте искать оружие...

Так в эту ночь под носом у немцев произошла мобилизация партизанского отряда в восемь человек, не считая двух мальчиков-разведчиков. Ваня и тот другой Аркадий, всезнающий, повели партизан, вооруженных лопатами, в темный лес и, не сбившись, показали, где нужно копать. Из ямы из-под снега и валежника вытащили пулеметы, из них четыре были вполне готовы к бою. Неподалеку в другой яме откопали ящик с гранатами и штук двадцать мин. Мальчики уговаривали вытащить из речки, из-под льда, также обе противотанковые пушки и вызывались даже сами нырять в воду: Вы, дяденьки, только сбегайте за пешней, расколите лед, мы студеной воды не боимся.

Но пушки отложили до другого раза. Оружие еще досветла перенесли на хутор к Василию Васильевичу. Жалко, не было только винтовок.

Наутро он опять колот дрова, напевая в бородку: Ах ты, зимушка-зима, холодна больно была, все дорожки замела... По чистому полю прибежал на лыжах Ваня. Днем он не казался таким маленьким, курносый и не важный, как давеча ночью.

Немцы всполошились, нашли за дровами старосту Носкова. Сейчас ходят по дворам, обыскивают, бьют... Крик стоит. На Федюнином дворе грудного как головой о косяк грохнут... Все наши ребята ушли в лес... А этот мальчишка, который с нами был, не знаю, врет, не знаю, нет, понимает по-немецки немного. Он слышал они этой ночью ждут грузовиков... Сказывай, чего тебе еще узнать нужно?

Поди к Капитолине Ивановне, она тебе блинов даст горячих...

Этой ночью километрах в десяти от села Старая Буда колонна немецких грузовиков налетела на мины. Как только головная машина высоко подскочила от резкого огненного удара, из хвойной чащи застучали пулеметы. Немцам некуда было ни сворачивать, ни уходить: с обеих сторон дороги поднималась снежная стена. Их было (как потом подсчитали) двадцать

семь душ; они заметались около грузовиков, дико вскрикивая, без толку стреляя и падая. Из черной тени на лунную дорогу выбежал человек в черной шубе и другой низенький, с автоматом. Ура! закричал человек, подняв руки. Тогда со снежных обочин посыпались партизаны, бросая кувыркающиеся в воздухе гранаты.

В несколько минут все было кончено. В шести захваченных грузовиках, не считая переднего сгоревшего, оказались винтовки, огнеприпасы, продовольствие и эрзац-одеяла. Все, что было нужно, партизаны взяли, остальное сожгли в машинах.

Наутро Василий Васильевич опять колол дрова. Мимо пустынного хуторка в этот день прошло немало народу. Каждый, завидев директора школы, кашлянув или другим способом обнаружив свое намерение, осторожно околицей сворачивал к его избенке. Через неделю в партизанском отряде, под командованием Василия Васильевича Козубского, находилось свыше двухсот человек и две пушки. Тогда было приступлено к основной операции уничтожению в селе Старая Буда немецкого гарнизона.

На помощь партизанам прорвалась через фронт крупная кавалерийская часть. Самый прорыв был не сложен, немцев обманули демонстрацией в одном месте, а главные силы перешли через шоссе в другом. Но поход в сорокаградусную стужу по лесным чащобам был небывало тяжел. Лошади вязли в снегу по брюхо; спешенным кавалеристам приходилось утаптывать ногами снег и подсекать деревья, чтобы протаскивать сани и пушки; люди, замученные дневным переходом, ночевали в снегу, не зажигая костров. На седьмой день похода стало ясно, что людям надо погреться. Для отдыха определили пять деревень, раскинутых по берегам речонки близко одна от другой. В деревнях стояли немцы. Генерал приказал занять их без шума, так, чтобы факельщики не успели поджечь домов, и так к тому же, чтобы ни один немец не ушел оттуда.

В ночь деревни были обойдены, на дорогах выставлены засады. Под завывание бесновавшейся вьюги, будто все лешие из области собрались сюда помогать русским, спешенные эскадроны вместе с вихрями снега ворвались в спящие деревни. Пять одна за другой зеленых ракет, пронизавших летящие снеговые тучи, оповестили, что приказ выполнен.

Генерал слез с коня около покосившегося, с кружевной резьбой, крылечка, озаренного со стороны улицы догорающими стропилами; у крыльца уткнулся немец, будто рассматривая что-то под землею, болотную шинель его уже заносило снегом. Генерал вошел в избу и потопал смерзшимися сапогами: женщина в темном платке, с бледным, измятым лицом, бессмысленно глядела на него, тихо причитывая...

А ну-ка самоварчик, сказал он, сбросил бурку на лавку, стащил меховую бекешу и сел под божницу, потирая опухшие от мороза руки. А хорошо бы и баньку истопить...

Женщина мелко закивала и, уйдя за перегородку, кажется, зажала себе рот, чтобы громко не закричать.

С мороза в избу входили командиры, все довольные, бойко вытягивались, весело отвечали. Генерал нет-нет да и прикладывал ладони к пылавшим щекам с отросшей щетиной, ему казалось, что лицо от тепла расширяется, как баллон. А генерал следил за своей внешностью. Вот черт, придется выспаться разок за семь дней...

Самовар внес высокий паренек лицо его было в лиловых глянцевитых рубцах, карие глаза мягко посмеивались, когда, сдунув пепел, он поставил самовар и начал наливать в чайник.

Это мать, что ли, ваша? Чего она как дурно воет?

Все еще опомниться не может, бойко ответил паренек. Немцы уж очень нервные, у нее крик-то ихний в ушах стоит.

Немцы ли нервные, русские ли нервные, без усмешки сказал генерал, обжигая пальцы о стакан. А много ли в деревне вас беглых военнопленных? Пятнистый паренек опустил голову, опустил руки, сдерживаясь, незаметно вздохнул:

Мы не виноваты, товарищ генерал-майор. Очутились мы позади немцев между первым их и вторым эшелоном как раз одиннадцатого сентября... Ну вот, и рассеялись...

Инициативы индивидуальной у вас, бойцов, не нашлось пробиваться с оружием?.. Стыдно... (У паренька затряслась рука, прижатая к бедру.) Ну, иди, топи баню, утром поговорим.

Утром генерал, помывшийся в баньке, выспавшийся, выбритый и опять красивый, вышел на крыльцо. С тепла дыхание перехватило морозом. У крыльца, где сквозь чистый снег проступали алые пятна и немцы уже были убраны, стоял давешний пятнистый паренек и с ним шесть человек на вид всем по восемнадцати, девятнадцати лет. Они сейчас же вытянулись.

Ага, воинство! сказал генерал, подходя к ним, Беглые военнопленные? Ну что, ответственности испугались? Красная Армия, значит, не на Урале. Красная Армия сама к вам пришла... Так как же вы расцениваете ваш поступок, сложили оружие перед врагом! Согласны ему воду возить, капониры чистить? И он принялся их ругать обидными выражениями. Пареньки молчали, лишь у одного глаза затуманились слезой, у другого между бровей легла упрямая морщина. Одеты все были худо, плохо в старые бараньи полушубки, в короткие куртки, на одном ватная женская кацавейка.

Красноармейскую шинель променяли на бабий салоп! Честь на стыд променяли! Кому вы такие нужны! крепким голосом рассуждал генерал, похаживая по фронту. Немца бить не кур щупать... Определите сами свою судьбу. Кто из вас может ответить простосердечно?

Ответил крепенький паренек с водянисто-голубыми глазами, с упрямой морщиной над коротким носом:

Мы вполне сознаем свою вину, ни на кого ее не сваливаем. Мы обрадовались вашему приходу, мы просим разрешить нам кровью расплатиться с фашистами... Он кивнул на губастого паренька, с изумленной и счастливой улыбкой глядевшего на генерала. Его, Константина Костина, сестра, Мавруня, найдена нами в лесу, повешенная за ногу, с изрезанным животом... Ее мы хорошо знали, у нас сердце по ней сохло... Так что воду возить фашистам мы не согласны...

Константин Костин сказал:

Товарищ генерал-майор, в вашей группе танков нет. Мы знаем, где брошенные танки, мы можем их откопать и отремонтировать, это наше предложение... Мы танкисты.

Ты что скажешь? спросил генерал у пятнистого.

Танки есть. Неподалеку в болоте сидит КВ и два средних. И еще знаем, где танки. Немцы пытались их вытащить, целыми деревнями народ сгоняли, да бросили. А мы знаем, как их вытащить. Конечно, население поснимало с них части, растащило. Ремонт будет тяжелый. Я сам механик-водитель, видите, у меня лицо чумазое: горел два раза... но справился.

Хорошо. Мы этот вопрос обсудим, сказал генерал. Подите хоть в немецкие, что ли, шинелишки оденьтесь, дьяволы.

Отдохнув сутки, кавалерийские полки двинулись в пылающий войною край, где действовало много мелких партизанских отрядов и десантников-парашютистов. Там был слоеный пирог. Не проходило ночи, чтобы какую-нибудь деревню не окружили партизаны, подобравшись по глубоким снегам. Часовой, наставивший выше каски воротник бараньего тулупа, со слабым криком падал под ударом ножа. Партизаны входили в прелые, набитые спящими немцами избы. Тот из немцев, кто умудрялся выскочить из этого ада выстрелов, воплей, ударов на улицу, все равно далеко не уходил, одного валила пуля, другого пристукивал дед Мороз, променявший сказочную и елочную профессию на вымораживание немцев. Проселки стали непроезжими. По большакам проскакивали лишь грузовые колонны под сильной охраной, и то не всегда. Движение по железной дороге прекратилось, путь был загроможден подорванными на минах паровозами и вагонами, вставшими дыбом друг на друга. Немцы теряли голову в этой проклятой

русской анархии.

Двигаясь широким фронтом, кавалерийские полки выбивали немецкие гарнизоны и к концу марта месяца помогли партизанам воссоединить под советским флагом несколько районов. Народ повеселел. Повсюду искали оружие, укрепляли деревни, где у околиц стояли на охране девушки с винтовками. Но долгая в этот год зима уже ломалась, на крышах повисли сосульки, прилетели худые грачи и кружились, тревожно крича вокруг прошлогодних гнезд. Пошли разговоры о том, что немцы на западной и северной стороне края стягивают крупные силы. Генерал послал разведать, подлинно ли те семь пареньков-танкистов что-либо разумное сделали за это время.

Семеро танкистов сдержали слово. Дело у них началось с бочки трофейного бензина, про которую они тогда ничего не сказали генералу. Они привели в порядок два немецких трактора и отремонтировали один советский, утопленный колхозниками в пруду. Осенью в этих местах немецкие танки окружили КВ, и он, вместо того чтобы проложить себе путь пушками и гусеницами или погибнуть со славой, кинулся уходить лесом, проломил дорогу в столетних соснах и увяз в болоте по самую башню.

Пешнями и топорами они вырубили кругом танка тоннель в промерзшей земле, в котлован под перед танка подвели бревна, их тут много валялось под снегом после бесплодных немецких попыток; сняли с него цепи и, прикрепив к трем тракторам, разом выдернули из ямы стотонную стальную крепость КВ. Тогда они сели и покурили в первый раз за два дня и три ночи. Покулив, тут же в снегу уснули. Танк они отволокли в деревню под навес для сушки хлеба, и тогда начались большие хлопоты.

На танке не было карбюратора, все свечи надо менять, поршневые кольца ни к черту не годились, вся оптика украдена, ствол пушки пробит насквозь противотанковой пулей, и самое отчаянное было то, что не оказалось инструментов, ни одного ключа, и, если бы эту развалину даже отправить на ремонтный завод, там бы провозились с ней до седьмого поту. Танкисты приуныли.

Наобещали генералу, эх, ребята, подлецами оказываемся, малодушно сказал губастый Константин Костин.

А кто же знал! закричал на него чумазый Федя Иволгин. Какому черту сиволапому, например, карбюратор понадобился! Щи на нем варить?

Они сидели вокруг танка под навесом, куда с одного края метель наносила голубоватый, как сахар, сугроб, дымящий поземкой.

Шарики в башне надо менять, тихо проговорил башенный стрелок, худощавый брюнет, похожий на девушку с усиками, а дыру в стволе, в пушке пальцем, что ли, заткнуть?

Товарищи, кончили психологию? спросил тот самый с водянисто-голубыми недобрыми глазами, техник-студент, москвич, Сашка Самохвалов. А то я начинаю жалеть, что связался с такой сопливой компанией. Он встал и засунул руки в карманы длинной, ему до пят, германской шинели. Вот мой приказ на ремонт этого крокодила три недели сроку. Для этого надо вытащить из болота оба средних танка, на них найдем некоторые части. Не найдем пойдем по деревням, из избы в избу, отыщем все, чего не хватает: у мужичков все припрятано. Кто со мной не согласен, предлагаю того заклеить изменником родине...

Танкисты помолчали, глядя, как ветер отдувает ему полу немецкой шинели. Немного ты перехватил, дружок, сказал ему чумазый Федя Иволгин, но в общем, конечно, правильно.

Все поднялись, взяли пешни, топоры, стали заводить тракторы. Вытащить из болота средние танки оказалось много легче. Их тоже поставили под навес. Трое танкистов Иволгин, Самохвалов и Костин занялись разборкой моторов. Четверо пошли на деревню искать по дворам инструменты и разные части и действительно у одного мужика, кузнеца, значившегося в колхозе кустарем-одиначкой и лодырем, обнаружили среди ржавых замков и примусовых горелок все три карбюратора.

Он пришел туда же под навес, где стояли танки. Звали его Гусар; был он жилистый и стройный, несмотря на года, с насмешливым морщинистым лицом, на котором большой лоснящийся нос выдавал пристрастие к выпивке. Ядовито улыбаясь, он слушал, какие именно инструменты и ключи необходимо достать или немедленно сделать.

Антиресно, сказал он, антиресно, ведь меня уж давно собрались в архив сдать, да, значит, опять пригодился кустарь-одиначка...

На другой день он принес несколько ключей, так отлично сделанных, что танкисты удивились:

Неужели, Гусар, это ваша работа?

Антиресно, сказал он ядовито, антиресно ваше мнение о русском человеке...

Кустарь-одиначка, пропойца... Так... А кто пьян, да умен два угодя в нем...

Нет, товарищи, поторопились вы судить русского человека.

У Гусара работа так и горела в руках. Хитер он был до удивления. На колхозной лошади сгонял на сожженную немцами паровую мельницу и привез оттуда стальные тросы и чугунные шестерни, из них смастерили под крышей сарая подъемный кран и трактором вытащили из танка башню. Он бегал на лыжах по окрестным деревням и умудрился достать автогенную горелку и трофейные баллоны с кислородом. Он же подал простую идею: бронебойными снарядами прочистить от заусениц простреленный ствол пушки. Со второго

выстрела бронебойным снарядом ствол стал снова гладок; сквозную дыру в нем, в которую выходили газы, забили стальными пробками и на это место навели бандаж из резинового шланга. Пушка была, как только что с завода. Тем временем танкисты приволокли к сараю еще четыре легких танка. По деревням уже знали об этой работе, и колхозники обшаривали болота в поисках боеприпасов и танков. Не проходило дня, чтобы к сараю не подъезжали сани, валил пар от клочкастой лошаденки, которой в свое время побрезговали немцы, в санях сидел дед, с сосульками на усах, с древним строгим взором круглых глаз под изломанными бровями, и его внучонок, мальчишка, не видно от земли, звонко спрашивал у чумазых от гари и масла танкистов:

Эй, дяденьки, куда сложить сорокапятимиллиметровые осколочные?

Когда посланный генерала приехал в эту деревню, под крышей сарая дымили горны, шипел ослепительно голубой автоген, грохотали молотки по стали; один средний и два легких танка стояли, готовые к бою; КВ, с надетыми гусеницами, дымил и стрелял в выхлопную трубу, но еще не заводился. Передайте генерал-майору, что задержка только за командами, сказал посланному, лейтенанту с тонкими губами, Сашка Самохвалов, пускай пришлют смелых механиков-водителей и башенных стрелков. Да пускай торопятся доставать горючее. Оптики у нас нет, все поснимали немцы, приходится стрелять наводкой через дуло, это тоже возьмите на карандаш... А покуда вы будете канителиться, мы еще подкинем парочку крокодилов. Лейтенант молчаливо все записал в блокнот, не выражая ни удивления, ни восторга, пожал руки семерым чумазым, восьмому Гусару и улетел на огородинке бреющим полетом.

Тронулись наконец шумные весенние воды и так затопили поля и леса, так буйно вздулись речки и верхом потекли овраги, что и думать нечего было о войне. Колхозники готовились к севу. Девушки с винтовками, скучающие у околиц, сдвинув брови, глядели на косяки перелетных птиц. Генерал приказал достать побольше книг из местных библиотек, чтобы занять умы и сердца кавалеристов разумным чтением. Но на триста верст в округности все библиотеки были уничтожены немцами, удивительно, как у них хватило заботы сжечь столько книг. Нашелся только затрепанный роман Вальтера Скотта Квентин Дорвард. Генерал проглотил его в одну ночь, лежа без сапог и гимнастерки на лавке у окна, за которым в беловатом свете падали тяжелые капли и по всей деревне кричали петухи. Затем книжка пошла по взводам и эскадронам для чтения вслух.

Но земля просохла, и немцы, недовольные тем, что недостаточно замучили русских людей, недостаточно сожгли сел и деревень и порезали скота, двинулись в наступление десятками батальонов и сотней танков на разгром

мужичья. Но у мужичья, не в пример прошлой осени, были теперь хорошо сформированные и вооруженные партизанские полки и, не в пример осени, всем был известен немецкий характер, от которого можно ждать только смерти русскому человеку.

По всему фронту вспыхнули бои. На помощь партизанам всюду, где становилось тесно, поспевали кавалерийские полки генерала. Это были прославившиеся в декабрьских и январских боях лихие полки все из украинцев, донских, кубанских, терских и сибирских казаков. Они знали четыре заповеди: не признавать окружения, выходить при любых обстоятельствах из любой создавшейся обстановки, биться до последнего патрона и живым не сдаваться, любить свое оружие и не бросать его даже в смертный час.

День и ночь немецкие самолеты проносились над селениями, едва не задевая колесами соломенные крыши, бомбя и обстреливая все живое, по всем большакам и проселкам грохотали их танки. Задача заключалась в истреблении нацистов, в создании такого сопротивления, чтобы русская земля стала для них землей отчаяния.

Во время одного из первых боев двенадцать немецких танков, беспечно и близко один к другому, двигались большаком. Окружалась большая группа партизан, и танки заходили им в тыл. Справа столетние сосны шумели под свежим майским ветром, слева расстилалась густая ольховая поросль. Оттуда, из этого майского шума листвы, раздался пушечный выстрел, и головной танк, пораженный в борт, остановился и задымил. Второй снаряд разбил гусеницу у другого танка. Немцы захлопнули люки и, стреляя из пулеметов, повернули в поросль, где, как поняли они, скрывается партизанская пушка. Но это оказалось не пушкой. Раздвигая ольховые заросли, как кабан из тростников, вылетел ржавой громадой КВ. Немцы никак не могли ждать здесь советских танков, да еще такого не пробиваемого никакими снарядами чудовища.

КВ, переваливаясь, выехал на большак, почти в упор расстрелял третий танк, внезапно разлетевшийся от взрыва, со всего хода влез сбоку на четвертый и раздавил его с чудовищным хрустом вместе с немцами. Уцелевшие танки повернули и уползли за поворот дороги. На КВ откинулся башенный люк, из машины на дорогу выскочили Сашка Самохвалов, Федя Иволгин и Леша Ракитин, похожий на девушку с усиками, чумазые, возбужденные...

Ну и сукин же кот этот Гусар! закричал Сашка Самохвалов. Конечно, мотор барахлит! Давай, ребята, снимай у немцев карбюраторы...

В то же время на крутом берегу речки спешенный эскадрон Ивана Сударева сдерживал немцев на переправе. Выли и рвались немецкие мины, перед щелями, где сидели кавалеристы, от сплошной завесы разрывных пуль кипела

и дымила земля, рвалась шрапнель, проносились огромные крылатые тени бомбардировщиков, с грохотом содрогался весь берег, и взметенные столбы, опадая, стучали комьями по шлемам и спинам людей. Немецкая пехота уже начала выбегать из приречных зарослей, солдаты налегке, в одних рубашках, бежали по реке.

Тогда на выручку Ивану Судареву спешили два танка чумазных средний и легкий. Они повисли на самом обрыве, над рекой. Через несколько минут очень много немецких солдат поплыло по ее медленному течению, опустив в воду голову и ноги. Иван Сударев поднял из щелей эскадрон, и русские скатились с обрыва на тех немецких пехотинцев, которые успели уже переправиться вплавь и на лодках на эту сторону.

В бою легкий танк погиб, это была первая потеря самохваловского танкового батальона. Средний, расстреляв все боеприпасы, ушел в лес за пополнением. Ящики со снарядами лежали в яме, прикрытые ветвями. Когда Константин Костин и двое чумазных начали вытаскивать ящики и подавать их в танк, безо всякой осторожности крича друг на друга, по всему лесу торопливо застучали немецкие автоматы, пули защелкали по броне. Тогда чумазные, присев в яме на корточки, стали разбивать ящики и передавать снаряды через люк в моторе четвертому, сидевшему в танке. Автоматчики приближались, на виду перебежали от дерева к дереву. Трое чумазных, погрузив снаряды, изловчаясь, вскакивали на гусеницу и в люк; последним кинулся Константин Костин вниз головой. Люк захлопнули, и танк погнался за автоматчиками. Одного из них, офицера, взяли живым, отвезли в штаб.

Таков был первый бой семерых чумазных, как их потом прозвали. Генерал вызвал к телефону старшину Самохвалова и лично поблагодарил его и остальных товарищей за стойкость. Чумазные поняли это как то, что родина их простила.

Чем здоровее человек, да чем грубее и проще жизнь наша, тем он чувствительнее. Не так ли?.. Пустое болтают, будто у Ивана Сударева вовсе нет нервов. Как начнешь иной раз вздохнуть, привяжутся жалостливые воспоминания, уходишь от разговоров, ложишься на траву... Ветер качает травинки, метелки, виден край неба... И сердце стучит в землю: матушка, земля родная, отворись, приласкай дорожного человека...

Вспоминается мне один случай в начале войны. Вам известно и рассказывать не стоит, в каком красивом положении оказались наши пограничные войска, когда он в первый же день разбомбил наши аэродромы. В тылу некоторые и до сих пор говорят, будто части Красной Армии тогда бежали. Нет, не оскорбляйте безвестных могил, в них лежат преданные сыны родины, жизнью своей они купили возможность нашей победы. Об их груди разбилося

безудержное немецкое нахальство. Стволы пулеметов и винтовок накалялись докрасна так мы дрались отступая. Он окружал нас бесчисленными танками, автоматчиками, бомбил и забрасывал минами, как хотел. Мы пробивались и пробились; нам было туго, но и немец ужаснулся от своих потерь.

Не спорю, были среди нас малодушные. Вылежав без памяти бомбежку, отряхивались и глаза отворачивали: Ну, его взяла... Эти сдавались. И еще была причина. Нас многому учили, но не все крепко усвоили, что в бою у каждого должна быть инициатива. Мы глядели на командира, он отвечал за все... А если он убит? Мы без головы?.. Вот что тогда губило многие части... И тогда же стала расти у нас инициатива... Народ смысленный, в драке злой... Гордость наша стонала. Как праздника ждали добраться до него врукопашную.

Неман остался позади. Мы потеряли связь с частями. И тут немец навалился со всех сторон. Мы наскоро вырыли узкие щели, сидим в них бронебойных пуль у нас и тех нет. А он клюет нас минами со всех сторон, самолеты волна за волной, земля скрипит от взрывов, пыль, вонючая гарь, в глазах, ушах забито песком. Иной подлец так низко пронесется, поливая из пулеметов, белесую рожу его успеешь разглядеть.

А мы сидим. Заповеди наши помните? Не признаем себя окруженными и все. И ему остается самое нежелательное иди с нами на рукопашное сближение. И точно, все стихло, ни выстрела, в небе ни звука. Начинаем слышать, как шумит лес. Высовываемся из щелей, видим зарево заката, большущее солнце в последний раз светит нам из-под тучи.

Берем легко раненных, способных держать винтовку или хоть ногами передвигать... Осторожно перебежками направляемся к лесу. Там, знаем, группа автоматчиков и пулеметы. Ползем впритирку к траве между кочками, одна забота ближе подобраться, на ура. А ему бы уж время открыть по нас огонь.

Помню, дрожь меня пробрала: что за черт! мы уже в полутора шагах, он должен нас обнаружить, почему он молчит? Встаю, прижимаюсь грудью к березе, вглядываюсь, на опушке никакого движения. В чем тут уловка? И вдруг начинается трескотня в глубине леса, правее этого места.

Трассирующие пули, синие, красные, зеленые, замелькали, потянулись нитками. И слышим русское ура!. Глотки у нас сами разинулись, мы поднялись и тоже ура!. Проскочили то место, где еще днем сидели немцы, и встретили их в лесной чаще. И отвели душу на этих автоматчиках.

Произошло вот что: отставшая от одного полка неполная рота под командой лейтенанта Моисеева, пробиваясь на восток, разведала о нашем окружении и, будучи в соседстве, решила нас выручить, с тылу ударила по автоматчикам. Мы в этот прорыв и вышли.

Моисеев был пылкий человек, рожден воином. Кто он такой на самом деле, мы так и не узнали, кажется, служил где-то в Западной Белоруссии. Прямой, среднего роста, лицо невыразительное, обыкновенное; рукава гимнастерки засучены по локоть; всегда смеялся добродушно, но взгляд острый, умный. Да, есть золотые люди на Руси.

Пробиваемся вместе с ротой Моисеева на восток. Сами ищем немцев, гарнизон ли, оставленный в деревне их первым эшелоном, или десантников, нападаем первые, и немцы перед нами бегут. Обросли мы бородами, черные все стали, уж не знаю от грязи ли, от злости. Бывало, Моисеев посмеивается: с такой армией да под музыку, да по Берлину пройти, на страх немкам, вот будет лихо...

Однажды около полустанка, где стоял разбитый покинутый состав и только что побывали немцы, на зеленом-зеленом сыром лугу, на нескошенной траве увидели лежащую молодую женщину. Руку положила под голову, другую прижала к простреленной груди, была, как спящая, опущены ресницы, ветерок шевелит каштановые волосы, только с уголка побледневшего рта струечка крови. Около женщины ползает черноглазая девочка, лет двух, в платьице горошком, тормозит ее и все повторяет: Мама спит, мама спит... Мы подошли. Девочка прижалась к матери, ладошками сжала ее щеки и глядит на нас, как испуганный галчонок.

Товарищи, что там, что там? слышим. Бежит Моисеев, рвет на себе ворот гимнастерки. Мы молча расступились. Он остановился и будто про себя, с удивлением: Мои, мои, жена, дочь... Схватил девочку, притиснул к себе... Опустился у жены в изголовье и заплакал, затянул, как ребенок; тут и девочка заревела.

Бойцы, кто засопев, кто вытирая глаза, отошли. Я отобрал у Моисеева револьвер, и на некоторое время оставили его одного с девочкой; стали копать могилу под тремя кудрявыми березами.

Жена его, должно быть, бежала в чем была с дочкой из Белостока, пробиралась где пешком, где на грузовике, где случайным поездом; на этом полустанке незадолго до нас немец их разбомбил; выскочила, побежала по зеленому лугу. А у немецких летчиков, у желтогубых мальчишек, особенный спорт пикировать до бреющего полета на бегущую без памяти женщину с ребенком... Может быть, она часу только не дождалась встречи с мужем... Вырыли могилу под березами, думали, что для одного человека, а пришлось положить туда двоих. Прискакал один из наших разведчиков на заморенной лошаденке, сообщил, что обнаружена группа мотоциклистов на большаке, который пересекал около этого полустанка железнодорожный путь. Можно было, конечно, отойти незаметно, не ввязываться в драку. Но подошел

Моисеев с девочкой на руках; у него даже лицо изменилось, стало серое, глаза погасли. Никак нет, я не согласен, сказал он, хочу встретить их, как должно... Только так, только так, товарищи. Погладил девочку по головке и передал на руки бойцу, раненному в голову, и мне повелительно: Возвратите мое личное оружие.

Моисеев сам провел всю операцию, в узком месте дороги навалил деревья, посадил в засаду пулеметчиков и стрелков, и, когда немцы беспечно и с удивлением остановились около завала и задние машины подтянулись, он истребил их огнем и штыками, всех до последнего человека. То ли он действительно искал смерти в этом бою, то ли душила его злоба, он вертелся с винтовкой в самой гуще схватки. Весь живот ему прошило из автомата. Все же он нашел силы, сел на дороге, оглядывая немецкое побоище... Ну вот, Маруся, сказал, видимо, уже немножко не в себе, это по тебе тризна, хороним тебя с музыкой... Повалился на левый бок, посиневшей рукой потащил из кобуры револьвер. У него был весь живот перерезан...

Похоронили их обоих в одной могиле. Девочка на руках у того бойца, представьте, не плакала, но глядела, как взрослая, когда зарывали ее мать и отца. Может быть, не понимала, что мы делаем? Хотя нет, дети в эту войну понимают больше, чем нам кажется. У них в умишках многое копошится и созревает со временем...

К вечеру в лесу, на привале, мы вскипятили воду в шлемах, помыли нашу девочку, завернули в плащ-палатку, устроили ей гнездо из ветвей и на охрану поставили с винтовкой бойца-пограничника Матвея Махоткина, страшного на вид мужчину. Девочка спала плохо, все просыпалась, звала: Мама... Матвей ей говорил: Спи, спи, не бойся... Но уже на другой день она затихла. Матвей никому ее не доверял, сам нес на руках и добился, как ее зовут; она долго не хотела говорить, потом вдруг сказала ему на ухо: Нина...

Еще много дней пробивались на восток через немецкие заслоны, а когда вплотную подошли к линии фронта, решили девочкой не рисковать. В местечке Немирово попросили незнакомую нам женщину Рину Михальчук, понравилась она нам, поверили ей, взять наше дитя. Что было у нас сахара и белых галет все отдали этой женщине в приданое за Ниной. Уходили из Немирова заглянули в ее хату. Нина прыгала у приемной матери на руках, а женщина тихо плакала... Вот и вся моя история...

Осталась наша Ниночка на западе, у немцев. И могила под теми березами у немцев...

Вот они!.. Поползли гуськом один, другой, третий с белым кругом, как кошачий глаз, с черным крестом... Прасковья Савишна перекрестилась, стоя за спиной Петра Филипповича. Как только загромыхали танки, он подскочил

на лавку к окошку, прилип к стеклу, но, когда она перекрестилась, живо обернулся, усмехнулся редкими зубами в жесткую бородку. За танками прошли по грязной сельской улице огромные грузовики, набитые ровно сидящими солдатами. Из-под глубоких шлемов в сером влажном свете немецкие лица глядели пустыми глазами, тоже серые, мертвенные, брюзгливые.

Шум проходящей колонны затих. И снова стали доноситься очень далекие громовые раскаты. Петр Филиппович отвалился от окна. У него смеялись все морщины у глаз, сами глаза, чуть видные за прищуренными веками, поблескивали непонятно. Прасковья Савишна сказала:

Господи, страх-то какой... Ну что ж, Петр Филиппович, может, теперь людьми будем?

Он не ответил. Сидел, стучал ногтями по столу, небольшой, рыжий, с широкими ноздрями, плешивый. Прасковье Савишне хотелось заговорить об ихнем доме, но рот у нее был запечатан робостью. Всю жизнь боялась мужа, с того дня, как ее в четырнадцатом году взяли из бедной семьи в богатую старообрядческую. С годами как будто и обошлось. Этой весной, когда Петр Филиппович вернулся, отбыв десятилетний срок наказания, она опять начала его бояться, и теперь ей было это очень обидно: для чего такой страх? Он не бьет ее и не ругает, но, как ни повернись, на все у него усмешка, все у него какие-то загадки. Прежде в доме не знали, как и книги читают, теперь он приносил из сельской библиотеки газеты и жег керосин, читая книги. Для этого привез очки с севера.

Прасковья Савишна, ничего не высказав, стала собирать обедать, накрошила капусты, луку, овощей, налила в чашку жидкого квасу и сердито кликнула детей. Обедали с заплесневелыми сухарями, зерно, мука, копченая гусятина и свинина все было припрятано на всякий случай от немецких глаз. Петр Филиппович, как обычно, раньше чем взять ложку, вытянул немного руки из рукавов, согнул их в локте и пригладил волосы ладонями, это была у него отцовская привычка. Когда он выкинул руки, Прасковья Савишна вдруг сказала с женской непоследовательностью:

Вывеску сельсовета-то содрали, должны теперь нам вернуть дом.

Положив ложку и подтирая фартуком слезы, она без передышки засыпала словами, излилась в длинной, сто раз слышанной, жалобе. Петр Филиппович и дети мальчик, такой же рыжий, как отец, и двенадцатилетняя дочь, с молочно-белым угрюмым лицом молча продолжали хлебать крошанку.

Наконец Прасковья Савишна выговорила то новое, что томило ее:

В селе Благовещенском уголовного одного, это все говорят, бургомистром назначили, дали ему дом на кирпичном этаже и лошадь... А у тебя, слава богу, заслуги-то выстраданные...

А и дура же ты, Прасковья Савишна, всемирная, только и ответил на это Петр Филиппович так убежденно, что она оборвала и затихла.

На другой день пришли грузовики с немцами уже не в шлемах, а в пилотках. Офицеры заняли хороший, под железной крышей, отцовский дом Петра Филипповича, что стоял через улицу, наискось от избенки, в которой он жил сейчас; солдаты разместились по избам. Еще за несколько дней до этого почти вся молодежь девушки и пареньки-подростки скрылись из села: кто-то их сманил. Немцам это очень не понравилось. На дверях комендатуры и у колодца они наклеили объявление, на двух языках, на хорошей бумаге, правила поведения для русских, с одним наказанием смертной казнью. Потом начались повальные обыски. Перепуганная Прасковья Савишна рассказала, что есть у них один солдат специалист по отыскиванию спрятанных поросят: тихонько зайдет на двор и начинает похрюкивать, и не отличишь, хрюкает и слушает. Действительно, на нескольких дворах ему откликнулись поросята, а уж так-то хорошо были спрятаны на чердаке... Уж так-то эти бабы потом плакали...

Немцы отбирали все, обчищали избы догола. Прасковья Савишна изныла, таская по ночам носильные вещи из сундука в подполье, оттуда в золу, в подпечье или еще куда-нибудь. Наконец Петр Филиппович закричал на нее, затопал ногами: Сиди ты спокойно или уйди, умри где-нибудь, сгинь!.. Дом их был будто под запретом, его обходили. Наконец явились двое с винтовками. Петр Филиппович надвинул на глаза каракулевый, еще отцовский, картуз и спокойно пошел между солдатами. У крыльца комендатуры он остановился и посмотрел, как длинный, в очках, вполне интеллигентного вида, немец, подтащив к себе круглолицую девочку лет четырнадцати, обшаривал ее и щупал; она испуганно подставляла локти, шептала: Не надо, дяденька, не надо. Он притиснул ее между колен и большими красными руками сжал ей грудь. Она заплакала. Он толкнул ее в затылок, она споткнулась, пошла; он поправил очки и взглянул на Петра Филипповича, не в лицо, не в глаза, а выше.

Это и есть Петр Горшков? спросил он, несколько задыхаясь.

Вслед за длинным немцем Петр Филиппович вошел в дом, где он родился, вырос, женился, похоронил отца, мать, троих детей; дом этот всю жизнь висел на нем, как лихо одноглазое на мужике, вцепившись в горб. Стены были свежее побелены, полы вымыты; в комнате в три окна пахло сигарами; здесь в прежние времена по большим праздникам семья Горшковых садилась за стол. Второй немец, осторожно положив перо, взглянул на вошедшего Петра Филипповича так же выше головы и сказал по-русски:

Снять картуз и сесть на стул у двери.

Этот немец был хорошенький, с темными усиками, с блестящим пробором; на черных петлицах серебряные молнии (которые в древнем, руническом, алфавите обозначали буквы с и с, а также главные атрибуты германского бога войны Тора).

Ваша биография нам известна, заговорил он после продолжительного молчания, вы были врагом советской власти, таким, надеюсь, продолжаете оставаться. (Петр Филиппович, с картузом на коленях, выставив бороду, глядел на господина офицера блестящими точками сквозь морщинистые щелки.) Что мы хотим от вас? Мы хотим от вас: полного осведомления о населении и особенно о связи с партизанами; чтобы вы заставили население работать; русские не умеют работать; мы, немцы, этого не любим, человек должен работать от утра и до ночи, всю жизнь, иначе его ждет смерть; на моей родине, у моего отца, есть маленькая мельница, на ней работает собака, она день и ночь бегаёт в мельничном колесе; собака умное животное, она хочет жить, этого я не могу сказать про русских... Итак, вы будете назначены бургомистром села Медведовки. В понедельник вы будете присутствовать при казни двух партизан. После этого вы вступите в свои обязанности...

Петр Филиппович вернулся домой. Жена кинулась к нему:

Ну, что сказали-то тебе? Отдадут нам дом?

Как же, как же, ответил Петр Филиппович, устало садясь на лавку и разматывая шарф.

Что еще сказали-то тебе?

Велели, чтоб ты мне баню истопила.

Прасковья Савишна осеклась, поджала губы, таращась на мужа. Но переспросить побоялась... А хотя и верно сегодня ведь суббота, немцы порядок любят... Надела сапоги и пошла топить баню на берегу речонки.

Петр Филиппович хорошо попарился, напился чайку и лег спать. А еще до света его уже не было дома.

Партизаны, о которых так беспокоился хорошенький немец с молниями на воротнике, имели штаб не так далеко от села Медведовки, если считать по прямой, но попасть туда было очень трудно: дорожки и едва заметные тропинки, известные только местным людям, вели через густые заросли ельника, ольхи и другой лесной путаницы к болоту; посреди его на твердом острове помещался штаб; все подходы к нему охранялись секретами; немцы не рисковали сунуть и носу в этот лес. Зайди туда чужой человек услышал бы он, как вдруг, где-то рядом, застучал дятел, ему далеко откликнулась кукушка, и пошли по всему лесу странные звуки постукивание и посвисты, воронье карканье, собачье потягивание... Жутко бы стало чужому человеку... Сегодня в безветрии моросил мелкий дождичек. В штабе партизан

значительных операций не предвиделось. Небольшие группы в три, четыре человека ушли, как обычно: одни в разведку, другие ставить мины на большаке. Особая группа еще стемна поджидала прохода воинского поезда. Там, по обочине железнодорожного полотна, залитого известью, чтобы обнаруживать следы партизан, оттопывали каждый свои два километра немецкие часовые, угрюмо и опасливо поглядывая по сторонам. В десяти шагах от них, в болотце, в осоке, под заломанными ветвями лежала наблюдательница девушка, вооруженная карабином и двумя черными гранатами величиной в гусиное яйцо; подальше, за вывороченным корневищем, сидел мальчик, ему пришлось видеть, как всю семью мать, бабушку, сестренку серо-зеленые солдаты в шлемах затолкали в сарай с сеновалом и ночью сарай запылал, и среди криков слышался голос матери... Лицо у мальчика было желтое, в старческих морщинках, он тоже не спускал глаз с немца, шагающего по полотну в глубоко надвинутом шлеме. Когда один из часовых прошел то место, которое было намечено партизанами, за его спиной проворный паренек, в туго подпоясанной стеганой куртке, одним прыжком перескочил через полотно, держа перед собой автомат, и тотчас другой паренек, так же бесшумно, кинулся из кустов и быстрыми движениями начал подкладывать под рельс сложный и страшный снаряд. Грохоча по лесу, показался поезд, видный весь на завороте пути; попыхивающие белые клубы дыма стлались к земле, путаясь между высокими пнями и редкими тощими березками. Огромный, приподнятый над колесами, жарко дышащий паровоз приближался, часовые сошли с полотна, показывая, что путь свободен. Перед паровозом раздался резкий взрыв, взлетел песчаный смерч, кусок рельса, свистя осколками, отскочил в сторону; паровоз всей бурно несущейся тяжестью врезался в шпалы; сзади на его занесенный зад с треском начали громоздиться вагоны, вдвигаться один в другой, поворачиваться и тяжело опрокидываться под откос. Из них с воплями посыпались серо-зеленые человечки...

Кроме таких дел, у партизан было много и другой работы в это утро. Начальник штаба, Евтюхов, тихо беседовал с гостем, начальником конной разведки, Иваном Сударевым. Сидя около замаскированной землянки, на сваленной сосне, под морозящим дождичком, они пили из консервных жестянок трофейное французское шампанское, воспетое еще Пушкиным. В такую сырость у обоих ныли старые раны. Евтюхов рассказывал о разных трудностях и неполадках, связанных с тем, что у него не хватает сведений о готовящихся операциях врага, о том, что происходит в немецких тылах. Нужен глубокий разведчик, где его найти? Вот мое горе. Твое горе основательное, рассудительно сказал Иван Сударев и выплеснул из жестянки остатки слабого напитка. Без глубокой разведки отважный дерется

с завязанными глазами, а это есть абсурд.

Во время этого разговора заколебался седой от дождя ельник, осыпаясь каплями, и появились две девушки в потемневших, насквозь мокрых гимнастерках, в коротких юбках, в больших сапогах. Держа в руках винтовки с примкнутыми штыками, они вели Петра Филипповича Горшкова. Глаза у него были завязаны ситцевым платком, он шел, протянув перед собой руки.

Девушки, перебивая одна другую и оправдываясь, рассказывали, что этот человек взят ими в трех километрах отсюда и непонятно, как он пробрался через секреты.

Это жирный карась, сказал Иван Сударев начальнику штаба. В Медведовке я у него раз ночевал, умен и хитер, интересно, что он скажет.

Петру Филипповичу развязали глаза, девушки, перекинув за спину винтовки, с неохотой отошли от него. Петр Филиппович поднял голову, глядя на затуманенные вершины леса, вздохнул:

К вам, собственно, я и шел, дело у меня к вам...

Любопытно, какое у вас ко мне может быть дело, ответил начальник штаба, пристально и холодно глядя на него. Немцы, что ли, обижают?

Наоборот, немцы меня не обижают... Я же десять лет отбывал наказание за вредительство.

Вам известно, Горшков, что вот вы незванный пробрались сюда, но обратно трудно вам будет вернуться?

Как же, известно... Я и шел на смерть...

Начальник штаба переглянулся с Иваном Сударевым и подвинулся на бревне: Да вы сядьте, Горшков, будет удобнее разговаривать. Зачем же вы избрали такой сложный способ для самоубийства?

Петр Филиппович сел на бревнышке, сложил руки под животом...

Принял, принял в расчет, что вы мне не поверите... Податься было некуда вчера вызвали меня и, видишь, предложили должность бургомистра... У немчиков круговая порука, вот и меня решили связать преступлением: в понедельник должен быть при казни двух ваших партизан...

Евтюхов не усидел на бревне.

Фу ты, черт!

У него даже брови перекосило, когда, став перед Петром Филипповичем, он сверлил глазами его непроницаемые щелки.

Сядь, это всегда успеешь, сказал ему Иван Сударев. Продолжайте, Горшков, мы вас слушаем.

Наперед вот что хочу вам сказать: действительно, я был вредителем и осужден правильно. Ни в какой организации не состоял, это мне пришили, но был зол и все... Не верил, что мои дети будут жить хорошо, в достатке, в довольстве... Что я, старик, умру со светлым сердцем, простив людям, как

полагается... Что похоронят меня с честью на русской земле... Не было у меня прощения... Ну, там связался с одним агрономом. Дал он мне порошки...

Подумал, подумал коровы, кормилицы, лошадки, чем же они виноваты? Эти порошки я выбросил, этого греха на мне нет. Агроном-то все-таки попался и на допросе меня оговорил... А я молчал со зла: ладно, ссылайте...

Странная история, все еще не успокоившись, сказал начальник штаба.

Чем же она странная? Русский человек не простой человек, русский человек хитро задуманный человек. Десять лет я проработал в лагерях, мало, что ли, передумано? Так: страдаешь ты, Петр Горшков... Ах, извините, прибавлю только насчет дома нашего, отцовского, под железной крышей, беспокоится о нем Прасковья Савишна, но не я, это у меня давно отмерло... За какую правду ты страдаешь? В городе Пустозерске, что неподалече от нашего лагеря, при царе Алексее Михайловиче сидел в яме протопоп Аввакум. Язык ему отрезали за то, что не хотел молчать; с отрезанным языком, сидя в яме, писал послания русскому народу, моля его жить по правде и стоять за правду, даже и до смерти... Творения Аввакума прочел, тогда была одна правда, сегодня другая, но правда... А правда есть русская земля...

Он убедительно говорит, сказал Иван Сударев начальнику штаба.

Продолжайте, Горшков, давайте короче к делу.

Торопиться не будем, подойдем и к делу. Немчик, офицер, вчера рассказал про свою собаку, что умное и полезное животное, чего, говорит, нельзя сказать про русских. Смеются над нами немцы-то... А? Петр Филиппович неожиданно разжал морщины и бесцветными круглыми, тяжелыми глазами взглянул на слушателей. Смеются они над русским народом: вон, мол, идет неумытый, нечесаный, дурак дураком, бей его до смерти!.. Вчера другой офицерик на улице, при всем народе, щупать начал девчонку, Киселеву Анютку, хорошую такую, милую девочку, задрал ей юбку, задыхается сам... Как это понять? Антихрист, что ли, пришел? Русская земля кончилась? Власть советская вооружила народ и повела в бой, чтобы перестал смеяться над нами проклятый немец... Становое дело вы делаете, товарищи, спасибо вам... Советская власть наша, русская мужицкая... Свой личный счет я давно закрыл и забыл...

Петр Филиппович облокотился, прикрыл ладонью лоб под козырьком каракулевого картуза.

Теперь решайте... Ведите меня в лес, расстреливайте... Я готов, только, ей-богу, будет обидно... Или верьте мне. Предлагаю: давать о них все сведения, я все буду знать, в штаб армии к ним проберусь, хитрости у меня хватит. Работать буду смело. Я смерти не боюсь, пыток не испугаюсь.

Иван Сударев и начальник штаба Евтюхов спустились в землянку и там несколько поспорили. С одной стороны, трудно было поверить такому

человеку, с другой глупо не воспользоваться его предложением. Вылезли из землянки, и Евтюхов сурово сказал Петру Филипповичу, все так же сидевшему на бревнышке:

Решили вам поверить. Обманете, под землей найдем...

Петр Филиппович просветлел, встал, снял картуз, поклонился:

Это счастье. Большое счастье для меня. Сведения буду посылать куда укажете через мою девчонку... Сынишка-то в мать пошел, слабый, а дочка, Анна, в меня, ребенок злой, скрытный.

Петру Филипповичу завязали глаза, и те же девушки увели его.

В понедельник, такой же сырой и мутный, немецкие солдаты с утра стали выгонять жителей на улицу, крича им непонятное и тыча рукой в сторону сельсовета. Там, на небольшой площади, где еще недавно был палисадник со статуей Ленина, снятой и разбитой немцами, стояла гимнастика два высоких столба с перекладиной. Теперь на ней висели две тонкие веревки с петлями. Весь народ уже знал, что будут вешать комсомольца Алексея Свиридова, его немцы подстрелили неподалеку от села, в орешнике, и Клавдию Ушакову, учительницу медведовской начальной школы; ее также взяли в орешнике, когда она пыталась унести на себе Алексея Свиридова.

Солдаты, взмахивая подбородками и покрикивая, как на скотину, которую гонят по пыльному шоссе в город на бойню, теснили народ ближе к гимнастике. Дождь струился по их стальным шлемам, по морщинистым женским лицам, по детским щекам. Грязь чавкала под ногами. Только и было слышно, как кто-нибудь слабо и болезненно вскрикивал, уколотый штыком. Показался грузовик. В нем стояла учительница, простоволосая, бледная, как покойница, черное пальто расстегнуто, руки связаны за спиной. У ног ее сидел полуживой Свиридов. Был он убедительный и горячий паренек, на селе его любили, ничего от него не осталось, замучили, сидел, как мешок. Позади грузовика шагали оба офицера, длинный в очках, с фотографическим аппаратом, и хорошенький. Оба солидно посмеивались, поглядывая на русских.

Грузовик подъехал, повернулся и задом вдвинулся под гимнастику. На него вскочили двое солдат. Тогда Клавдия Ушакова, раскрыв глаза, будто от непостижимого изумления, крикнула низким голосом:

Товарищи, я умираю, уничтожайте немцев, клянись мне...

Солдат с размаху ладонью закрыл ей рот и сейчас же, торопливо и неловко, начал надевать петлю через затылок на ее тонкую детскую шею.

Сидящий Алексей Свиридов закричал раздирающим хрипом:

Товарищи, убивайте немцев!..

Другой солдат ударил его по голове и тоже начал натаскивать петлю.

В толпе все громче плакали. Грузовик резко дернул. Ноги Клавдии Ушаковой

поползли, тело ее наклонилось, точно падая, и выпрямилось свободно, она первая повисла на тонкой веревке, наклонив к плечу простоволосую голову, закрыв глаза...

На месте отъехавшего грузовика стоял Петр Филиппович, бургомистр. Весь народ с ужасом увидел, как он снял картуз и перекрестился.

Начальник штаба несколько дней после казни дожидался Горшковой девочки в условленном месте, в сумерках, в овраге, в густом дубняке. Пришел сам Горшков. Начальник штаба весь трясся, глядя на него. Он же, присев на корточки, тихим голосом начал подробно рассказывать, как происходила казнь.

Народ так это и понял, что ушли от нас великомученики, святые-с... Наказ их предсмертный у всех в ушах... Что же касается сведений, то будут они такие... И он стал сообщать столь важные сведения, о которых начальник штаба и мечтать не мог. Он долго глядел широко разинутыми глазами на Горшкова: Ну, если ты врешь...

Петр Филиппович не ответил, только развел ладошками, усмехнулся; из картуза вынул план, где крестиками были помечены немецкие склады бензина и боеприпасов.

Ну, это ты оставь планы чертить, сказал ему Евтюхов, пряча бумажку в кармашек, запрещаю тебе строжайше, должен все держать в памяти...

Никаких документов! И больше сам сюда не приходи, посылай девчонку...

Сведения Горшкова оказались точные. Один за другим немецкие склады взлетали на воздух. Угрюмая белолицая девчонка Анна прокрадывалась почти каждый вечер в овраг и передавала и важное и маловажное. Однажды она сказала, как всегда, бубнящим равнодушным голосом:

Папаша велел сказать: получены новые автоматы, ключи-то от склада у него теперь, вам первым он отпустит автоматы. Приходите завтра ночью; только наказывал: в часовых никак не стрелять, а резать их беспрерывно...

Петр Филиппович работал смело и дерзко. Он будто издевался над немцами, доказывал им, что действительно русский человек хитро задуманный человек и не плоскому немецкому ограниченному уму тягаться с трезвым, вдохновенным, не знающим часто даже краев возможностей своих, острым русским умом.

Оба офицера были уверены, что нашли преданного им, как собака хозяину, смышленного человека. Жили они в постоянном страхе: под носом у них горели военные склады, происходили крушения поездов, и таких именно, в которых везли солдат или особо важные грузы; им в голову не могло прийти, например, что в доброй половине полученных из Варшавы ящиков с оружием автоматов и пистолетов уже не было и со склада из Медведовки на фронт отсылались, тщательно закупоренные, ящики с песком. Офицер, с молниями

бога Тора на воротнике, не мог догадаться, что странное нападение в одну из непроглядных ночей на его дом имело целью похитить на несколько часов его полевую сумку с чрезвычайно важными пометками на карте. Сам он отделался испугом, когда среди ночи зазвенело разбитое окно, что-то упало на пол и рвануло так, не лежи он в это время на низкой койке, случилось бы непоправимое. В белье он выскочил на улицу. По селу шла трескотня, солдаты выбегали из изб, кричали: Партизанен! и стреляли в темноту. У его крыльца лежали двое зарезанных часовых. Он только наутро хватился сумки, но ее вскорости принес вместе с чемоданчиком и запачканным мундиром Петр Филиппович, он нашел эти вещи здесь же на огороде, очевидно партизаны бросили их, убегая.

Немцам дорого обошлось бургомистерство Петра Филипповича. Все же он попался, на мелочи, вернее, от высокомерной злобы своей к немчикам. Он похитил печать и бланк, взял со склада немецкую пишущую машинку и поехал в село Старую Буду, где партизанил отряд Василия Васильевича Козубского. Директор школы написал ему по-немецки пропуск в город, в штаб армии. Но Василий Васильевич, хотя и хорошо знал по-немецки, сделал ошибку в падеже. Это и погубило Горшкова. Его задержали и вместе с поддельным пропуском вернули в Медведовку. Оба офицера, длинный и хорошенький, не хотели верить такому непостижимому русскому коварству, но потом пришли в ярость: им все теперь стало понятно...

Это случилось в те дни, когда Красная Армия прорвала на одном из участков немецкий фронт и выбила немцев из сел и деревень. Медведовка была занята, первыми туда ворвались партизаны. На улице к Евтюхову подошла Анна, волосы у девочки были, как колтун, забиты землей, лицо обтянутое, старушечье, пыльное, платьишко изодрано на коленях.

Вы папашку моего ищете?

Да, да, что такое с ним?

Нашу избу сожгли немцы, маму, брата убили. Папашку моего четыре дня пытали, он еще сейчас живой висит, идемте.

Анна, как сонная, пошла впереди Евтюхова к прежнему горшковскому дому под железной крышей. Обернулась, с трудом приоткрыла зубы:

Вы не думайте, папашка мой ничего им не сказал...

В коровьем сарае под перекладиной висел Горшков, в одних подштанниках, с синими опущенными ступнями; искривленное туловище его было все исполосовано, руки скручены за спиной, ребра выпячены, с правой стороны в грудь был всунут крюк, он висел под перекладиной, повешенный за ребро...

Когда Евтюхов, крикнув ребят, попытался приподнять его, чтобы облегчить муку, Петр Филиппович, видимо уже не в себе, проговорил:

Ничего... Мы люди русские.

Русский характер! для небольшого рассказа название слишком многозначительное. Что поделаешь, мне именно и хочется поговорить с вами о русском характере.

Русский характер! Поди-ка опиши его... Рассказывать ли о героических подвигах? Но их столько, что растеряешься, который предпочесть. Вот меня и выручил один мой приятель небольшой историей из личной жизни. Как он бил немцев я рассказывать не стану, хотя он и носит золотую звездочку и половина груди в орденах. Человек он простой, тихий, обыкновенный, колхозник из приволжского села Саратовской области. Но среди других замечен сильным и соразмерным сложением и красотой. Бывало, заглядишься, когда он вылезает из башни танка, бог войны! Спрыгивает с брони на землю, стаскивает шлем с влажных кудрей, вытирает ветошью чумазое лицо и непременно улыбнется от душевной приязни.

На войне, вертясь постоянно около смерти, люди делаются лучше, всякая чепуха с них слезает, как нездоровая кожа после солнечного ожога, и остается в человеке ядро. Разумеется у одного оно покрепче, у другого послабже, но и те, у кого ядро с изъяном, тянутся, каждому хочется быть хорошим и верным товарищем. Но приятель мой, Егор Дремов, и до войны был строгого поведения, чрезвычайно уважал и любил мать, Марью Поликарповну, и отца своего, Егора Егоровича. Отец мой человек степенный, первое он себя уважает. Ты, говорит, сынок, многое увидишь на свете, и за границей побываешь, но русским званием гордись...

У него была невеста из того же села на Волге. Про невест и про жен у нас говорят много, особенно если на фронте затишье, стужа, в землянке коптит огонек, трещит печурка и люди поужинали. Тут наплетут такое уши развесишь. Начнут, например: Что такое любовь? Один скажет: Любовь возникает на базе уважения... Другой: Ничего подобного, любовь это привычка, человек любит не только жену, но отца с матерью и даже животных... Тьфу, бестолковый! скажет третий, любовь это, когда в тебе всё кипит, человек ходит вроде, как пьяный... И так философствуют и час и другой, покуда старшина, вмешавшись, повелительным голосом не определит самую суть... Егор Дремов, должно быть стесняясь этих разговоров, только вскользь помянул мне о невесте, очень, мол, хорошая девушка, и уже если сказала, что будет ждать, дождется, хотя бы он вернулся на одной ноге... Про военные подвиги он тоже не любил разглаговольствовать: О таких делах вспоминать не охота! Нахмурится и закурит. Про боевые дела его танка мы узнавали со слов экипажа, в особенности удивлял слушателей водитель Чувилев.

...Понимаешь, только мы развернулись, гляжу, из-за горюшки вылезает...

Кричу: Товарищ лейтенант, тигра! Вперед, кричит, полный газ!.. Я и давай по

ельничку маскироваться вправо, влево... Тигра стволом-то водит, как слепой, ударил мимо... А товарищ лейтенант как даст ему в бок, брызги! Как даст еще в башню, он и хобот задрал... Как даст в третий, у тигра из всех щелей повалил дым, пламя как рванется из него на сто метров вверх... Экипаж и полез через запасной люк... Ванька Лапшин из пулемета повел, они и лежат, ногами дрыгаются... Нам, понимаешь, путь расчищен. Через пять минут влетаем в деревню. Тут я прямо обезживотел... Фашисты кто куда... А грязно, понимаешь, другой выскочит из сапогов и в одних носках порск. Бегут все к сараю. Товарищ лейтенант дает мне команду: А ну двинь по сараю. Пушку мы отвернули, на полном газу я на сарай и наехал... Батюшки! По броне балки загрохотали, доски, кирпичи, фашисты, которые сидели под крышей... А я еще и проутюжил, остальные руки вверх и Гитлер капут...

Так воевал лейтенант Егор Дремов, покуда не случилось с ним несчастье. Во время Курского побоища, когда немцы уже истекали кровью и дрогнули, его танк на бугре, на пшеничном поле был подбит снарядом, двое из экипажа тут же убиты, от второго снаряда танк загорелся. Водитель Чувилев, выскочивший через передний люк, опять взобрался на броню и успел вытащить лейтенанта, он был без сознания, комбинезон на нем горел. Едва Чувилев оттащил лейтенанта, танк взорвался с такой силой, что башню отшвырнуло метров на пятьдесят. Чувилев кидал пригоршнями рыхлую землю на лицо лейтенанта, на голову, на одежду, чтобы сбить огонь. Потом пополз с ним от воронки к воронке на перевязочный пункт... Я почему его тогда поволок? рассказывал Чувилев, слышу, у него сердце стучит...

Егор Дремов выжил и даже не потерял зрение, хотя лицо его было так обуглено, что местами виднелись кости. Восемь месяцев он пролежал в госпитале, ему делали одну за другой пластические операции, восстановили и нос, и губы, и веки, и уши. Через восемь месяцев, когда были сняты повязки, он взглянул на свое и теперь не на свое лицо. Медсестра, подавшая ему маленькое зеркальце, отвернулась и заплакала. Он тотчас ей вернул зеркальце.

Бывает хуже, сказал он, с этим жить можно. Но больше он не просил зеркальце у медсестры, только часто ощупывал свое лицо, будто привыкал к нему. Комиссия нашла его годным к нестроевой службе. Тогда он пошел к генералу и сказал: Прошу вашего разрешения вернуться в полк. Но вы же инвалид, сказал генерал. Никак нет, я урод, но это делу не мешает, боеспособность восстановлю полностью. (То, что генерал во время разговора старался не глядеть на него, Егор Дремов отметил и только усмехнулся лиловыми, прямыми, как щель, губами.) Он получил двадцатидневный отпуск для полного восстановления здоровья и поехал домой к отцу с матерью. Это было как раз в марте этого года.

На станции он думал взять подводу, но пришлось идти пешком восемнадцать верст. Кругом еще лежали снега, было сыро, пустынно, студеный ветер отдувал полы его шинели, одинокой тоской насвистывал в ушах. В село он пришел, когда уже были сумерки. Вот и колодезь, высокий журавель покачивался и скрипел. Отсюда шестая изба родительская. Он вдруг остановился, засунув руки в карманы. Покачал головой. Свернул наискосок к дому. Увязнув по колено в снегу, нагнувшись к окошечку, увидел мать, при тусклом свете привернутой лампы, над столом, она собирала ужинать. Все в том же темном платке, тихая, неторопливая, добрая. Постарела, торчали худые плечи... Ох, знать бы, каждый бы день ей надо было писать о себе хоть два словечка... Собрала на стол нехитрое, чашку с молоком, кусок хлеба, две ложки, солонку и задумалась, стоя перед столом, сложив худые руки под грудью... Егор Дремов, глядя в окошечко на мать, понял, что невозможно ее испугать, нельзя, чтобы у нее отчаянно задрожало старенькое лицо. Ну, ладно! Он отворил калитку, вошел во дворик и на крыльце постучался. Мать откликнулась за дверью: Кто там? Он ответил: Лейтенант, Герой Советского Союза Громов.

У него так заколотилось сердце привалился плечом к притолоке. Нет, мать не узнала его голоса. Он и сам, будто в первый раз, услышал свой голос, изменившийся после всех операций, хриплый, глухой, неясный.

Батюшка, а чего тебе надо-то? спросила она.

Марье Поликарповне привез поклон от сына, старшего лейтенанта Дремова. Тогда она отворила дверь и кинулась к нему, схватила за руки:

Жив, Егор-то мой? Здоров? Батюшка, да ты зайди в избу.

Егор Дремов сел на лавку у стола на то самое место, где сидел, когда еще у него ноги не доставали до полу и мать, бывало, погладив его по кудрявой головке, говаривала: Кушай, касатик. Он стал рассказывать про ее сына, про самого себя, подробно, как он ест, пьет, не терпит нужды ни в чем, всегда здоров, весел, и кратко о сражениях, где он участвовал со своим танком. Ты скажи страшно на войне-то? перебивала она, глядя ему в лицо темными, его не видящими глазами.

Да, конечно, страшно, мамаша, однако привычка.

Пришел отец, Егор Егорович, тоже сдавший за эти годы, бородку у него как мукой осыпало. Поглядывая на гостя, потопал на пороге разбитыми валенками, не спеша размотал шарф, снял полушубок, подошел к столу, поздоровался за руку, ах, знакомая была, широкая, справедливая родительская рука! Ничего не спрашивая, потому что и без того было понятно зачем здесь гость в орденах, сел и тоже начал слушать, полуприкрыв глаза.

Чем дольше лейтенант Дремов сидел неузнаваемый и рассказывал о себе и не

о себе, тем невозможнее было ему открыться, встать, сказать: да признайте же вы меня, уroda, мать, отец!.. Ему было и хорошо за родительским столом и обидно.

Ну что ж, давайте ужинать, мать, собери чего-нибудь для гостя. Егор Егорович открыл дверцу старенького шкафчика, где в уголку налево лежали рыболовные крючки в спичечной коробке, они там и лежали, и стоял чайник с отбитым носиком, он там и стоял, где пахло хлебными крошками и луковой шелухой. Егор Егорович достал склянку с вином, всего на два стаканчика, вздохнул, что больше не достать. Сели ужинать, как в прежние годы. И только за ужином старший лейтенант Дремов заметил, что мать особенно пристально следит за его рукой с ложкой. Он усмехнулся, мать подняла глаза, лицо ее болезненно задрожало.

Поговорили о том и о сем, какова будет весна и справится ли народ с севом, и о том, что этим летом надо ждать конца войны.

Почему вы думаете, Егор Егорович, что этим летом надо ждать конца войны? Народ осерчал, ответил Егор Егорович, через смерть перешли, теперь его не остановишь, немцу капут.

Марья Поликарповна спросила:

Вы не рассказали, когда ему дадут отпуск, к нам съездить на побывку. Три года его не видала, чай взрослый стал, с усами ходит... Эдак каждый день около смерти, чай и голос у него стал грубый?

Да вот приедет может и не узнаете, сказал лейтенант.

Спать ему отвели на печке, где он помнил каждый кирпич, каждую щель в бревенчатой стене, каждый сучок в потолке. Пахло овчиной, хлебом тем родным уютом, что не забывается и в смертный час. Мартовский ветер посвистывал над крышей. За перегородкой похрапывал отец. Мать ворочалась, вздыхала, не спала. Лейтенант лежал ничком, лицом в ладони: Неужто так и не признала, думал, неужто не признала? Мама, мама...

Наутро он проснулся от потрескивания дров, мать осторожно возилась у печи; на протянутой веревке висели его выстиранные портянки, у двери стояли вымытые сапоги.

Ты блинчики пшеничные ешь? спросила она.

Он не сразу ответил, слез с печи, надел гимнастерку, затянул пояс и босой сел на лавку.

Скажите, у вас в селе проживает Катя Малышева, Андрея Степановича Малышева дочь?

Она в прошлом году курсы окончила, у нас учительницей. А тебе ее повидать надо?

Сынок ваш просил непременно ей передать поклон.

Мать послала за ней соседскую девочку. Лейтенант не успел и обуться, как

прибежала Катя Малышева. Широкие серые глаза ее блеснули, брови изумленно взлетали, на щеках радостный румянец. Когда откинула с головы на широкие плечи вязаный платок, лейтенант даже застонал про себя: поцеловать бы эти теплые светлые волосы!.. Только такой представлялась ему подруга, свежа, нежна, весела, добра, красива так, что вот вошла, и вся изба стала золотая...

Вы привезли поклон от Егора? (Он стоял спиной к свету и только нагнул голову, потому что говорить не мог.) А уж я его жду и день и ночь, так ему и скажите...

Она подошла близко к нему. Взглянула, и будто ее слегка ударили в грудь, откинулась, испугалась. Тогда он твердо решил уйти, сегодня же.

Мать напекла пшеничных блинов с топленым молоком. Он опять рассказывал о лейтенанте Дремове, на этот раз о его воинских подвигах, рассказывал жестоко и не поднимал глаз на Катю, чтобы не видеть на ее милом лице отражения своего уродства. Егор Егорович захлопотал было, чтобы достать колхозную лошадь, но он ушел на станцию пешком, как пришел. Он был очень угнетен всем происшедшим, даже, останавливаясь, ударял ладонями себе в лицо, повторял сиплым голосом: Как же быть-то теперь?

Он вернулся в свой полк, стоявший в глубоком тылу на пополнении. Боевые товарищи встретили его такой искренней радостью, что у него отвалилось от души то, что не давало ни спать, ни есть, ни дышать. Решил так, пускай мать подольше не знает о его несчастье. Что же касается Кати, эту занозу он из сердца вырвет.

Недели через две пришло от матери письмо:

Здравствуй, сынок мой, ненаглядный. Боюсь тебе и писать, не знаю, что и думать. Был у нас один человек от тебя, человек очень хороший, только лицом дурной. Хотел пожить, да сразу собрался и уехал. С тех пор, сынок, не сплю ночи, кажется мне, что приезжал ты. Егор Егорович бранит меня за это, совсем, говорит, ты, старуха, свихнулась с ума: был бы он наш сын разве бы он не открылся... Чего ему скрываться, если это был бы он, таким лицом, как у этого, кто к нам приезжал, гордиться нужно. Уговорит меня Егор Егорович, а материнское сердце все свое: он это, он был у нас!.. Человек этот спал на печи, я шинель его вынесла на двор почистить, да припаду к ней, да заплачу, он это, его это!.. Егорушка, напиши мне, Христа ради, надоумь ты меня, что было? Или уж вправду с ума я свихнулась...

Егор Дремов показал это письмо мне, Ивану Судареву, и, рассказывая свою историю, вытер глаза рукавом. Я ему: Вот, говорю, характеры столкнулись! Дурень ты, дурень, пиши скорее матери, проси у нее прощенья, не своди ее с ума... Очень ей нужен твой образ! Таким-то она тебя еще больше станет любить...

Он в тот же день написал письмо: Дорогие мои родители, Марья Поликарповна и Егор Егорович, простите меня за невежество, действительно у вас был я, сын ваш... И так далее, и так далее на четырех страницах мелким почерком, он бы и на двадцати страницах написал было бы можно.

Спустя некоторое время стоим мы с ним на полигоне, прибегает солдат и Егору Дремову: Товарищ капитан, вас спрашивают... Выражение у солдата такое, хотя он стоит по всей форме, будто человек собирается выпить. Мы пошли в поселок, подходим к избе, где мы с Дремовым жили. Вижу он не в себе, все покашливает... Думаю: Танкист, танкист, а нервы. Входим в избу, он впереди меня, и я слышу:

Мама, здравствуй, это я!.. И вижу маленькая старушка припала к нему на грудь. Оглядываюсь, тут, оказывается, и другая женщина. Даю честное слово, есть где-нибудь еще красавицы, не одна же она такая, но лично я не видал. Он оторвал от себя мать, подходит к этой девушке, а я уже поминал, что всем богатырским сложением это был бог войны. Катя! говорит он, Катя, зачем вы приехали? Вы того обещали ждать, а не этого...

Красивая Катя ему отвечает, а я хотя ушел в сени, но слышу: Егор, я с вами собралась жить навек. Я вас буду любить верно, очень буду любить... Не отсылайте меня...

Да, вот они, русские характеры! Кажется, прост человек, а придет суровая беда, в большом или в малом, и поднимается в нем великая сила человеческая красота.